

Вторник, 5 ноября 1996 года

Веч. Москва.

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА

## Московский альбом

**М**ы ехали с Кайсыном Кулиевым по Дарьяльскому ущелью — то есть это он ехал со мной в придачу, объезжая дозором, как российский мороз-воевода, свои владения и как бы даря их гостю. А я поражаюсь. Было начало июня, Терек тек смирной речушкой, и его ручн — ручьевой — нрав никак не вязался с картиной, его окружавшей. С бетонными кубами, которыми, по всему видать, его пытались смирить и которые он, через край опоенный таянием горных снегов, расшвырял, словно детские кубики.

Конечно, немедленно вспомнились снисходительные строчки Маяковского: «От этого Терека в поэтах истерика. ...Сошел, поплывал в Терек с берега, совал ему в пену палку...».

— Попробовал бы он сунуть в Терек палку, когда тот настоящий... — саркастически произнес Кайсын. И — сладострастно, со вкусом и расстановкой, беря каждым «ха» реванш, — Ха! Ха! Ха!

Сегодня все это — и тихий до времени Терек, и бесцеремонная палка — кажется символическим предостережением, но тогда, до кавказской войны, казалось — и было — лишь обаятельным и ревнивым отстаиванием своего, родного...

Коли так — не странно ли, что страничка в моем московском альбоме отведена поэту Кавказа? Напротив. Есть в этом особый смысл, и дело не только в моем ностальгическом желании вспомнить милого мне человека, даже не в том, что он учился в Москве, жил в ней подолгу, лечился и умирал здесь. Москва была и его городом, как городом многих литературных «националов» — в том числе тех, кто не хочет помнить сегодня, как вчера и позавчера спасались в ней. Не как в «столице империи», а как в теплом городе, где им были рады, где их защищали от их же местных гонителей, где, благодаря переводам на русский, достойные получали всесоюзную славу.

Ладно. Не помнят — не нужно. Не будем навязываться.

**И**так, Кайсын Кулиев. Большой поэт крохотной Балкарии, широкую славу как раз получивший. Да и государство — нельзя сказать, чтобы оно обошло его, бывшего ссыльного, милостью: депутатство, Госпремии... Впрочем, тут тонкость или, скорее, хитрость.

До высочайших наград Кулиева не возвысили. Почему? Он сам мне рассказывал, будто, когда его выдвинули на Ленинскую, собрат по Кавказу и по перу ходил по большим кабинетам: «Кайсыну нельзя давать. Он сидел». Хотя собраты из метрополии, то ли Кожевников, то ли Грибачев, то ли оба вместе, тоже высказались на заседании Комитета по премиям: дескать, стихи недурные, однако:

— Они могли появиться и во времена Гомера!

Между прочим, лучший из комплиментов. И — чистая правда: я только однажды встретил в стихах Кулиева слово «партия». В несильном стихотворении, кажется, 55-го года, где он благодарил наследников Ленина за то, что наконец-то вернул балкарцев из сталинской ссылки.

Вообще — сложное это дело. Не скажу, что с большой охотой вспоминаю его ночной звонок — в день, когда он ждал, твердо на это надеясь, на этот раз звания Героя Соцтруда.

— Так они и не дали мне Героя, — голос его был крепко хмельным и по-детски горьким. Впрочем, тут же последовала едкая самоирония: — Видно, я им плохо служу...

Я не то чтобы разозлился, совсем нет, но наиграл по душевной подкаске злость — роль расчета сыграла интуиция:

— И очень хорошо! Я рад, что тебе не дали! Почему? — он так изумился моему бессердечию, что протрезвел.

— А ты что ж... — экспрессии ради, я добавил толику ненормативной лексики, чего вообще-то в разговоре с ним избегал. — Хочешь быть в той же литературе, где Пастернак, а награды получать, как Софронов?

Пастернак, как Ахматова и Твардовский (но не Мандельштам — тут мы с ним расходились), был для него святым именем.

— Не в этом дело, — ответил Кайсын. — Но ты же знаешь, каким счастьем это было бы для моего народа.

Тут мне крыть было нечем: я знал! Хотя — какой, в сущности, ужас, что самоутверждение целого народа зависимо от побрякушки, которую навесят или не навесят на его замечательного поэта.

Вот чего уж решительно не было, так это работы на вынос, столь частой у сынов «литературы народов». В голову не приходило спекулировать на на-

циональной экзотике, заискивать перед всеююзным читателем, чьи представления о Кавказе пребывали на уровне бухгалтера Берлаги из «Золотого теленка» с памятливыми «кунаками» и «абреками». Еще вспоминаю. Когда Расул Гамзатов издал с помощью переводчиков цикл надписей — «Надпись на камне», «Надпись на перстне», «... на кинжале», «... на бурке» (как будто типичный восточный жанр, сомнения в подлинности не вызывающий), Кайсын заговорщически наклонился к моему уху:

— Слушай, ты не знаешь, как можно сделать надпись на бурке?

Сам он щепетильно предупреждал в стихах: «Я не пою, а пишу на бумаге, мерю пальто городского

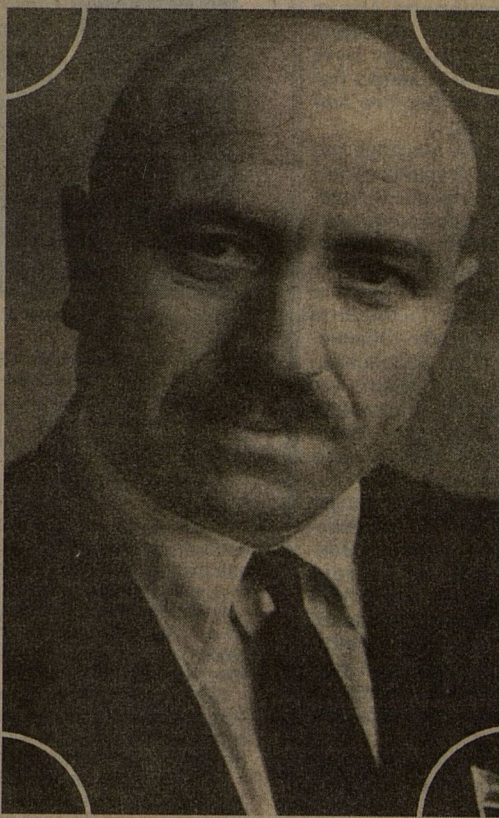
чился от неизлечимого и, четко зная, чем и как болел, спокойно работал, писал стихи и перечитывал Ахматову; ее том лежал на столе. Больница (на Мичуринском) была сильно ведомственной, библиотека — богатой, а Кулиев, как он сказал, — первым, кому там понадобилась эта книга. Завидев его вновь бритоголовым, я, по нелепому обычаю всех непрощенных утешителей, воскликнул с бодростью, которая мне самому до омерзения показалась наигранной: «Ну наконец-то ты образумился!..». Но он повернулся ко мне затылком, и я увидел послеоперационный шрам:

— Понял, почему я побрился? Картинности, величавости в нем не было — или

«И, как Байрон, хромая, проходил к очагу», — романтизировал Кайсына его друг Дмитрий Кедрин. На этот раз он, хромая, двинулся от очага.

Возносить ли ему за это ваву? Можно, конечно. Но как бы и стыдно. Он сам, весьма способный похвастать строкой, об этом говорил скупое, мало, редко. Обиды — о да, помнил; с яростной ненавистью говорил, например, о Фадееве, кому среди его вельможных забот хватало времени распорядиться судьбой ссыльного поэта Кулиева, следить, чтоб именно лично ему в Киргизии было как можно хуже. А собственный выбор... Да и был ли он? Кем стал бы Кайсын духовно, во что б обратился, если бы принял ту милость?

# РАНЕННЫЙ КАМЕНЬ



сукна», и экзотизмы вроде того же «кунака», «тамады», «газырей», иногда мелькающие в русских переводах его стихов, не должны обмануть. Сверяясь с подстрочником, всякий раз я убеждался: от лукавого переводчика. И любимый образ Кулиева «раненный камень» — он столь же горский по происхождению, сколь всечеловеческий по способности страдать и кровоточить. Но, страдая и кровоточа, оставаться все-таки — камнем. «Мила мне в сильных слабость, в слабых — сила». «Идти в снега по груди хватает сил покуда, идти и этот путь не давать за чудо».

**«Б**ритоголовым горцем» (над коим как бы витала тень Хаджи-Мурата) — так красиво назвал я его в статье, рассчитанной на «за рубеж»: это уж была моя работа на-вынос, потому что русскому читателю я такой авантюжной чепухи не предложил бы. Но мне действительно нравилась его начисто оголенная голова, тотально распространившаяся лысыня — и я до смешного был огорчен, когда Кайсын вдруг перестал голову брить, отрастив там, где они еще продолжали расти, длинные волосы. Даже заорал: «Зачем?!», заподозрив уступку длинноволосью, аккуратно тогда входившему в моду. А он ответил неожиданно жалобно:

— Какая мода? Мне тут у вас холодно! Мерзну!

Случайно запомнилось: жил он тогда в гостинице «Минск», где зимой не работало отопление, и Кайсын даже спал в ушанке. Сущий этот пустяк вспомнился потому, что у моей полуигры в «брито-голового мусульманина» оказалось горестное продолжение. Я навесил его в больницу, где он ле-

было очень мало; ну если они и проступали порою, то с наивностью, не оскорбляющей глаз и душу. Не было даже уверенности заслуженного человека, твердо и постоянно помнящего о своих заслугах, — хотя, разумеется, помнил. Как и все мы, он мог беззащитно потеряться или прийти в бессильную ярость, столкнувшись с хамством малого — то бишь особенно дорожившего причастностью к привилегиям — начальства: билетного ли кассира или ресторанного швейцара. Это бессилие отмечало особо по причинам отчасти личным.

Вот отрывок из его письма: «...Был в издательстве, читал рецензию. Я глубоко огорчен, что тебе приходится страдать из-за меня. Кроме прочего, я ограничен в своих действиях потому, что эта книга обо мне. Это сильно ограничивает мои возможности. Неловко, но я уверен, что книга твоя выйдет. Для того, чтобы спасти ее, может быть, ты ее дополнишь?.. Прости меня, старика!».

С чего бы этакая покаянность? Дело-то было обыкновенное. Я написал книжку о нем — для издательства в Нальчике. Как всегда, начались опасения: почему в ней есть это? (А я действительно что-то себе напозволял.) Почему нет того? Последнее расшифровывалось: почему автор не изобразил Кайсына Кулиева как певца социалистической Кабардино-Балкарии и ее народнохозяйственных побед?.. Помимо прочего, стало ясно, что не все земляки читали своего прославленного поэта.

В общем, рукопись послали в Москву, на арбитраж, тамашний критик-холуй довесил на книгу собак, «дополнять» я ее отказался, тем дело — повторяю: обыкновенное, рядовое, непримечательное — и закончилось. Не совсем обыкновенным, нерядовым и попросту замечательным было другое.

Даже тогда, когда невышедшей книги было ужасно жалко, меня тронуло — и отчасти утешило — именно кулиевское неумение защитить ее, выхода которой ему очень хотелось (книг о нем тогда еще не писали). То есть защитить и себя самого, с желанием и мнением коего не посчитались. Ведь он — при его влиянии, тем паче на «малой родине», где он, казалось, был всем, — мог надавить, нажать, пригрозить. Да, мог... И не мог. Потому что «книга обо мне» — что тут прикажешь делать?

**М**ало кто знает, что ссылка, выпавшая на общую долю балкарцев, для Кулиева вышла словно бы «добровольной» (ставлю выразительные кавычки). Влиятельные друзья в Москве — среди них помню Николая Тихонова — лично ему, едва ли не одному-единственному, выхлопотали право не покидать Кавказ; роль сыграло, конечно, не то, что — известный поэт, фронтовик, инвалид, ни одна из этих сентиментальностей. Прицепились к тому, что одна из бабок Кайсына была кабардинка — из народа, который Сталин, властвуя и разделяя, с места не стронул.

Кайсын — не остался. Как рассказывал сам, вернулся, раненый, в 44-м из госпиталей, поднялся в горы, в родной аул Верхний Чегем (не путать с абхазским, с Искандеровским), заплакал над остывшим родительским очагом и отправился за своими, в Киргизию.

Никто не сказал о Кулиеве, о душевном его существе так пронзительно, как обожаемый им Пастернак.

«Дорогой Кайсын! — писал Пастернак. — Вы пользуетесь полностью моей взаимностью... Вы из тех немногих, которых природа создает, чтобы они были счастливыми, в любом положении, даже в горе. Тот, кто очень рано или при рождении получает от нее несколько, все равно каких, нравственных, физических или душевных задатков, но выраженных до конца и не оставляющих сомнения, тот в завидном положении вот почему. На примере самого себя... рано убеждается он, как хорошо и в мире все законченное, недвусмысленное, исправное и образцовое, и на всю жизнь... охватывается тягой к совершенству. Природный талант, конечно, есть путь к будущей производительности и победе. Но не этим поразителен талант. Поразило то, что природный талант есть детская модель вселенной (гениально! — Ст. Р.), заложенная с малых лет в ваше сердце, школьное учебное пособие для постижения мира изнутри с его лучшей и ошеломляющей стороны. Дарование учит чести и бесстрашию, потому что оно открывает, как сказочно много вносит честь в общедраматический замысел существования. Одаренный человек знает, как много выигрывает жизнь при полном и правильном освещении и как проигрывает в полутьме. Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выходящая и счастливая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно. В Вас есть эта породистость струны или натянутой тетивы, и это счастье».

Письмо счастливому человеку от счастливого человека. Хотя первый в эту пору в ссылке, второй — в загоне, в опале.

**З**наю, что позвонил Липкину, Гребневу... Звонил ли мне? Не знаю и никогда не узнаю: в ту пору надолго уехал из Москвы. Ревниво надеюсь, что — да, звонил. И в то же время даже задним числом страшно вообразить, что и как я говорил бы ему, зная, что это в последний раз.

Как только он умер, возникла легенда: будто он, улетаая, попросил пилота сделать круг над Эльбрусом, и пилот не отказался, нарушив ради него законы Аэрофлота. Но Эльбрус был закутан в облака и с высоты не виден. То есть сказка вышла печальной, не подарив, как ей положено, последнего исполнения желаний, — но там, я верю, тебе должно быть светло и легко, золотой мой Кайсын, «старый кавказский черт», как ты надписал одну из дареных книг. А по правде — не черт, не ангел, но человек, который нес и вынес больше того, что должен выносить человек. Тяжело и легко вынес, не доставив мучителям недругам и соблазнам радости увидеть тебя потерявшим осанку.

Остальное — «второстепенно».

Станислав РАССАДИН